Отчаяние

Автор:
Владимир Набоков

Отчаяние

Владимир Владимирович Набоков

«Отчаяние» (1934) – шестой роман Владимира Набокова, написанный в Берлине, и его третий, после «Короля, дамы, валета» и «Камеры обскура», психологически-криминальный роман, отвергающий условности этого жанра. Герман, берлинский коммерсант русско-немецкого происхождения, убежденный в своей гениальности, замышляет преступление, которое, подобно произведению искусства, должно стать шедевром изобретательности и безупречности исполнения. Жизнь, однако, оказывается намного остроумнее и художественней порочного замысла, кривое зеркало которого лишь искажает реальность.

Форма повествования от первого лица, вера героя-рассказчика в собственную исключительность и блистательный слог сближают «Отчаяние» с написанной двадцать лет спустя «Лолитой».

Владимир Набоков

Отчаяние

роман

Copyright © 1936, 1965, 1966 by Vladimir Nabokov

All rights reserved

© А. Бабиков, редакторская заметка, примечания, 2021

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Издательство CORPUS ®

От редактора

Роман был написан в Берлине летом-осенью 1932 г. на закате Веймарской республики и незадолго до прихода Гитлера к власти. С 1933 г. русская эмигрантская аудитория Набокова начала стремительно сокращаться, побуждая его задуматься об отъезде из Германии и готовить переводы своих книг на другие языки, прежде всего английский. Отрывки из романа публиковались в парижской газете «Последние новости» в 1933 г., полностью роман был опубликован в журнале «Современные записки» в следующем году. Отдельной книгой «Отчаяние» вышло в берлинском издательстве «Петрополис» в 1936 г. Печатается по этому изданию с учетом текста журнальной публикации.

После выхода «Отчаяния» поэт и литературный критик Глеб Струве писал о Набокове:

В чем основное свойство творчества Сирина? Я бы определил его как радостный и сознательный творческий произвол. Ни один писатель не дает вам в такой полноте впечатления творческой, волшебно-легкой власти над своим миром. Сирин не изображает жизнь, он творит в плоскости, параллельной ей. Оттого, пожалуй, реалистам, жизнелюбцам мир его произведений кажется нереальным, тепличным, несмотря на то, что ему свойственна, как и герою его «Отчаяния», необыкновенная зоркость, «повышенная приметливость». ‹…› Конечно, отчаяние Германа есть отчаяние сплоховавшего художника. Можно провести далеко

идущую параллель между творческими приемами Сирина и преступным замыслом его героя (Струве Г. О В. Сирине // Русский в Англии. 15 мая 1936 г.).

Еще до русского книжного издания романа Набоков во второй половине 1935 г. самостоятельно перевел «Отчаяние» на английский язык, озаглавив его «Despair». Перевод предназначался для лондонского издательства «Hutchinson», которое в 1937 г., несмотря на возражения Набокова, опубликовало роман под маркой своего подразделения «John Long», выпускавшего развлекательные книги для нетребовательного читателя. Как и предполагал Набоков, его «носорог в мире колибри» не имел успеха. Едва ли английский читатель, прельщенный завлекательной аннотацией и загадочной обложкой, мог ожидать, что в этой книге за привычной декорацией «триллера» кроется изощренная пародия на Достоевского и приемы исповедальной прозы. В 1964 г. Набоков подготовил новую, расширенную версию своего перевода, которая увидела свет в американском издательстве «G. P Putnam’s Sons» в 1966 г. Русский оригинал романа был переиздан в «Ардисе» (Анн-Арбор) в 1978 г.

Посвящаю моей жене

Глава I

Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью… – Так примерно я полагал начать свою повесть. Далее я обратил бы внимание читателя на то, что, не будь во мне этой силы, способности и прочего, я бы не только отказался от описывания недавних событий, но и вообще нечего было бы описывать, ибо, дорогой читатель, не случилось бы ничего. Это глупо, но зато ясно. Лишь дару проникать в измышления жизни, врожденной склонности к непрерывному творчеству я обязан тем… – Тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом… Но, как говаривал мой бедный левша, философия – выдумка богачей. Долой.

Я, кажется, попросту не знаю, с чего начать. Смешон пожилой человек, который бегом, с прыгающими щеками, с решительным топотом, догнал последний автобус, но боится вскочить на ходу и, виновато улыбаясь, еще труся по инерции, отстает. Неужто не смею вскочить? Он воет, он ускоряет ход, он сейчас уйдет за угол, непоправимо, – могучий автобус моего рассказа. Образ довольно громоздкий. Я все еще бегу.

Покойный отец мой был ревельский немец, по образованию агроном, покойная мать – чисто русская. Старинного княжеского рода. Да, в жаркие летние дни она, бывало, в сиреневых шелках, томная, с веером в руке, полулежала в качалке, обмахиваясь, кушала шоколад, и наливались сенокосным ветром лиловые паруса спущенных штор. Во время войны меня, немецкого подданного, интернировали, – я только что поступил в Петербургский университет, пришлось все бросить. С конца четырнадцатого до середины девятнадцатого года я прочел тысячу восемнадцать книг, – вел счет. Проездом в Германию я на три месяца застрял в Москве и там женился. С двадцатого года проживал в Берлине. Девятого мая тридцатого года, уже перевалив лично за тридцать пять…

Маленькое отступление: насчет матери я соврал. По-настоящему она была дочь мелкого мещанина – простая, грубая женщина в грязной кацавейке. Я мог бы, конечно, похерить выдуманную историю с веером, но я нарочно оставляю ее как образец одной из главных моих черт: легкой, вдохновенной лживости. Итак, говорю я, девятого мая тридцатого года я был по делу в Праге. Дело было шоколадное. Шоколад – хорошая вещь. Есть барышни, которые любят только горький сорт, – надменные лакомки. Не понимаю, зачем беру такой тон.

У меня руки дрожат, мне хочется заорать или разбить что-нибудь, грохнуть чем-нибудь об пол… В таком настроении невозможно вести плавное повествование. У меня сердце чешется, – ужасное ощущение. Надо успокоиться, надо взять себя в руки. Так нельзя. Спокойствие. Шоколад, как известно (представьте себе, что следует описание его производства). На обертке нашего товара изображена дама в лиловом, с веером. Мы предлагали иностранной фирме, скатывавшейся в банкротство, перейти на наше производство для обслуживания Чехии, – потому-то я и оказался в Праге. Утром девятого мая я из гостиницы в таксомоторе отправился… Все это скучно докладывать, убийственно скучно, – мне хочется поскорее добраться до главного, – но ведь полагается же кое-что предварительно объяснить. Словом, – контора фирмы была на окраине города, и я не застал кого хотел, сказали, что он будет через час, наверное…

Нахожу нужным сообщить читателю, что только что был длинный перерыв, – успело зайти солнце, опаляя по пути палевые облака над горой, похожей на Фузияму[1 - В настоящем издании сохраняются некоторые особенности орфографии и транслитерации Набокова (написание слов чорт, счастие, фамилья, шелопай, рукзак и др., а также имен собственных, например, Дойль). (Здесь и далее – прим. ред.)], – я просидел в каком-то тягостном изнеможении, то прислушиваясь к шуму и уханию ветра, то рисуя носы на полях, то впадая в полудремоту – и вдруг содрогаясь… и снова росло ощущение внутреннего зуда, нестерпимой щекотки, – и такое безволие, такая пустота. Мне стоило большого усилия зажечь лампу и вставить новое перо, – старое расщепилось, согнулось и теперь смахивало на клюв хищной птицы. Нет, это не муки творчества, это – совсем другое.

Значит, не застал, и сказали, что через час. От нечего делать я пошел погулять. Был продувной день, голубой, в яблоках; ветер, дальний родственник здешнего, летал по узким улицам; облака то и дело сметали солнце, и оно показывалось опять, как монета фокусника. В сквере, где катались инвалиды в колясочках, бушевала сирень. Я глядел на вывески, находил слово, таившее понятный корень, но обросшее непонятным смыслом. Пошел наугад, размахивая руками в новых желтых перчатках, и вдруг дома кончились, распахнулся простор, показавшийся мне вольным, деревенским, весьма заманчивым. Миновав казарму, перед которой солдат вываживал белую лошадь, я зашагал уже по мягкой, липкой земле, дрожали на ветру одуванчики, млел на солнцепеке у забора дырявый сапожок. Впереди великолепный крутой холм поднимался стеной в небо. Решил на него взобраться. Великолепие его оказалось обманом. Среди низкорослых буков и бузины вилась вверх зигзагами ступенчатая тропинка. Казалось, вот-вот сейчас дойду до какой-то чудной глухой красоты, но ее все не было. Эта растительность, нищая и неказистая, меня не удовлетворяла, кусты росли прямо на голой земле, и все было загажено, бумажонки, тряпки, отбросы. Со ступеней тропинки, проложенной очень глубоко, некуда было свернуть; из земляных стен по бокам, как пружины из ветхой мебели, торчали корни и клочья гнилого мха. Когда я наконец дошел доверху, там оказались кривые домики, да на веревке надувались мнимой жизнью подштанники.

Облокотясь на узловатые перила, я увидел внизу подернутую легкой поволокой Прагу, мреющие крыши, дымящие трубы, двор казармы, крохотную белую лошадь. Решил вернуться другим путем и стал спускаться по шоссейной дороге, которую нашел за домишками. Единственной красотой ландшафта был вдали, на пригорке, окруженный голубизной неба, круглый, румяный газоем, похожий на исполинский футбольный мяч. Я покинул шоссе и пошел опять вверх, по редкому

бобрику травы. Унылые, бесплодные места, грохот грузовика на покинутой мною дороге, навстречу грузовику – телега, потом велосипедист, потом в гнусную радугу окрашенный автомобиль фабрики лаков.

Некоторое время я глядел со ската на шоссе; повернулся, пошел дальше, нашел что-то вроде тропинки между двух лысых горбов и поискал глазами, где бы присесть отдохнуть. Поодаль, около терновых кустов, лежал навзничь, раскинув ноги, с картузом на лице, человек. Я прошел было мимо, но что-то в его позе странно привлекло мое внимание, – эта подчеркнутая неподвижность, мертво раздвинутые колени, деревянность полусогнутой руки. Он был в обшарканных плисовых штанах и темном пиджачке.

«Глупости, – сказал я себе, – он спит, он просто спит. Чего буду соваться, разглядывать». И все же я подошел и носком моего изящного ботинка брезгливо скинул с его лица картуз.

Оркестр, играй туш! Или лучше: дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюке! Невероятная минута. Я усомнился в действительности происходящего, в здравости моего рассудка, мне сделалось почти дурно – честное слово, – я сел рядом, – дрожали ноги. Будь на моем месте другой, увидь он, что увидел я, его бы, может быть, прежде всего охватил гомерический смех. Меня же ошеломила таинственность увиденного. Я глядел, – и все во мне как-то срывалось, летало с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью.

Тут, раз я уже добрался до сути и утолил зуд, не лишнее, пожалуй, слогу своему приказать: вольно! – потихоньку повернуть вспять и установить, какое же настроение было у меня в то утро, о чем я размышлял, когда, не застав контрагента, пошел погулять, полз на холм, глядел вдаль, на облый румянец газоема среди ветреной синевы майского дня. Вернемся, установим. Вот, без цели еще, я блуждаю, я еще никого не нашел. О чем я, в самом деле, думал? То-то и оно, что ни о чем. Я был совершенно пуст, как прозрачный сосуд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания. Дымка каких-то мыслей: о моем деле, о недавно приобретенном автомобиле, о различных свойствах тех мест, которыми я шел, – дымка этих мыслей витала вне меня, а если что и звучало в просторной моей пустоте, то лишь невнятное ощущение какой-то силы, влекущей меня. Один умный латыш, которого я знавал в девятнадцатом году в Москве, сказал мне однажды, что беспричинная задумчивость, иногда обволакивающая меня, признак того, что я кончу в сумасшедшем доме. Конечно,

он преувеличивал, – я за этот год хорошо испытал необыкновенную ясность и стройность того логического зодчества, которому предавался мой сильно развитый, но вполне нормальный разум. Интуитивные игры, творчество, вдохновение – все то возвышенное, что украшало мою жизнь, может, допустим, показаться профану, пускай умному профану, предисловием к невинному помешательству. Но успокойтесь, я совершенно здоров, тело мое чисто как снаружи, так и внутри, поступь легка, я не пью, курю в меру, не развратничаю. Здоровый, прекрасно одетый, очень моложавый, я блуждал по только что описанным местам, – и тайное вдохновение меня не обмануло, я нашел то, чего бессознательно искал. Повторяю: невероятная минута. Я смотрел на чудо, и чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью, бесцельностью, но, быть может, уже тогда, в ту минуту, рассудок мой начал пытать совершенство, добиваться причины, разгадывать цель.

Он сильно потянул носом, зыбь жизни побежала по лицу, чудо слегка замутилось, но не ушло. Затем он открыл глаза, покосился на меня, приподнялся и начал, зевая и все недозевывая, скрести обеими руками в жирных русых волосах.

Это был человек моего возраста, долговязый, грязный, дня три не бривший; между нижним краем воротничка (мягкого, с двумя петельками спереди для несуществующей булавки) и верхним краем рубашки розовела полоска кожи. Тощий конец вязаного галстука свесился набок, и на груди не было ни одной пуговицы. В петлице пиджака увядал пучок бледных фиалок, одна выбилась и висела головкой вниз. Подле лежал грушевидный заплечный мешок с ремнями, подлеченными веревкой. Я рассматривал бродягу с неизъяснимым удивлением, словно это он так нарядился нарочно, ради простоватого маскарада.

«Папироса найдется?» – спросил он по-чешски, неожиданно низким, даже солидным голосом, и сделал двумя расставленными пальцами жест курения.

Я протянул ему мою большую кожаную папиросницу, ни на мгновение не спуская с него глаз. Он пододвинулся, опершись ладонью оземь. Тем временем я осмотрел его ухо и впалый висок.

«Немецкие», – сказал он и улыбнулся, показав десны; это меня разочаровало, но, к счастью, улыбка тотчас исчезла (мне теперь не хотелось расставаться с чудом).

«Вы немец?» – спросил он по-немецки, вертя, уплотняя папиросу.

Я ответил утвердительно и щелкнул перед его носом зажигалкой. Он жадно сложил ладони куполом над мятущимся маленьким пламенем. Ногти – черно-синие, квадратные.

«Я тоже немец, – сказал он, выпустив дым, – то есть мой отец был немец, а мать из Пильзена, чешка».

Я все ждал от него взрыва удивления, – может быть, гомерического смеха, – но он оставался невозмутим. Уже тогда я понял, какой это оболтус.

«Да, я выспался», – сказал он самому себе с глупым удовлетворением и смачно сплюнул.

Я спросил: «Вы что – без работы?»

Скорбно закивал и опять сплюнул. Всегда удивляюсь тому, сколько слюны у простого народа.

«Я могу больше пройти, чем мои сапоги», – сказал он, глядя на свои ноги. Обувь у него была действительно неважная.

Медленно перевалившись на живот и глядя вдаль, на газоем, на жаворонка, поднявшегося с межи, он мечтательно проговорил:

«В прошлом году у меня была хорошая работа в Саксонии, неподалеку от границы. Садовничал – что может быть лучше? Потом работал в кондитерской. Мы каждый день с товарищем после работы переходили границу, чтобы выпить по кружке пива. Девять верст туда и столько же обратно, оно в Чехии дешевле. А одно время я играл на скрипке, и у меня была белая мышь».

Теперь поглядим со стороны, – но так, мимоходом, не всматриваясь в лица, не всматриваясь, господа, – а то слишком удивитесь. А впрочем, все равно, – после всего случившегося я знаю, увы, как плохо и пристрастно людское зрение. Итак: двое рядом на чахлой траве. Прекрасно одетый господин, хлопающий себя желтой перчаткой по колену, и рассеянный бродяга, лежащий ничком и

жалующийся на жизнь. Жесткий трепет терновых кустов, бегущие облака, майский день, вздрагивающий от ветра, как вздрагивает лошадиная кожа, дальний грохот грузовика со стороны шоссе, голосок жаворонка в небе. Бродяга говорил с перерывами, изредка сплевывая. То да сё, то да сё… Меланхолично вздыхал. Лежа ничком, отгибал икры к заду и опять вытягивал ноги.

«Послушайте, – не вытерпел я, – неужели вы ничего не замечаете?»

Перевернулся, сел. «В чем дело?» – спросил он, и на его лице появилось выражение хмурой подозрительности.

Я сказал: «Ты, значит, слеп».

Секунд десять мы смотрели друг другу в глаза. Я медленно поднял правую руку, но его шуйца не поднялась, а я почти ожидал этого. Я прищурил левый глаз, но оба его глаза остались открытыми. Я показал ему язык. Он пробормотал опять: «В чем дело, в чем дело?»

Было у меня зеркальце в кармане. Я его дал ему. Еще только беря его, он всей пятерней мазнул себя по лицу, взглянул на ладонь, но ни крови, ни грязи не было. Посмотрелся в блестящее стекло. Пожал плечами и отдал.

«Мы же с тобой, болван, – крикнул я, – мы же с тобой – ну разве, болван, не видишь, ну посмотри на меня хорошенько…»

Я привлек его голову к моей, висок к виску, в зеркальце запрыгали и поплыли наши глаза.

Он снисходительно сказал: «Богатый на бедняка не похож, – но вам виднее. Вот, помню, на ярмарке двух близнецов, это было в августе двадцать шестого года или в сентябре, нет, кажется, в августе. Так там действительно – их нельзя было отличить друг от друга. Предлагали сто марок тому, кто найдет примету. Хорошо, говорит рыжий Фриц, и бац одному из близнецов в ухо. Смотрите, говорит, у этого ухо красное, а у того нет, давайте сюда ваши сто марок. Как мы смеялись!»

Его взгляд скользнул по дорогой бледно-серой материи моего костюма, побежал по рукаву, споткнулся о золотые часики на кисти.

«А работы у вас для меня не найдется?» – осведомился он, склонив голову набок.

Отмечу, что он первый, не я, почуял масонскую связь нашего сходства, а так как установление этого сходства шло от меня, то я находился, по его бессознательному расчету, в тонкой от него зависимости, точно мимикрирующим видом был я, а он – образцом. Всякий, конечно, предпочитает, чтобы сказали: он похож на вас, – а не наоборот: вы на него. Обращаясь ко мне с просьбой, этот мелкий мошенник испытывал почву для будущих требований. В его туманном мозгу мелькала, может быть, мысль, что мне полагается быть ему благодарным за то, что он существованием своим щедро дает мне возможность походить на него. Наше сходство казалось мне игрой чудесных сил. Он в нашем сходстве усматривал участие моей воли. Я видел в нем своего двойника, то есть существо, физически равное мне, – именно это полное равенство так мучительно меня волновало. Он же видел во мне сомнительного подражателя. Подчеркиваю, однако, туманность этих мыслей. По крайней тупости своей, он, разумеется, не понял бы моих комментариев к ним.

«В настоящее время ничем помочь тебе не могу, – ответил я холодно, – но дай мне свой адрес». Я вынул записную книжку и серебряный карандаш.

Он усмехнулся: «Не могу сказать, чтобы у меня сейчас была вилла. Лучше спать на сеновале, чем в лесу, но лучше спать в лесу, чем на скамейке».

«А все-таки, – сказал я, – где, в случае чего, можно тебя найти?»

Он подумал и ответил: «Осенью я, наверное, буду в той деревне, где работал прошлой осенью. Вот на тамошний почтамт и адресуйте. Неподалеку от Тарница. Дайте запишу».

Его имя оказалось: Феликс, что значит «счастливый». Фамилию, читатель, тебе знать незачем. Почерк неуклюжий, скрипящий на поворотах. Писал он левой рукой.

Мне было пора уходить. Я дал ему десять крон. Снисходительно осклабясь, он протянул мне руку, оставаясь при этом в полулежачем положении.

Я быстро пошел к шоссе. Обернувшись, я увидел его темную, долговязую фигуру среди кустов: он лежал на спине, перекинув ногу на ногу и подложив под темя руки. Я почувствовал вдруг, что ослабел, прямо изнемог, кружилась голова, как после долгой и мерзкой оргии. Меня сладко и мутно волновало, что он так хладнокровно, будто невзначай, в рассеянии, прикарманил серебряный карандаш. Шагая по обочине, я время от времени прикрывал глаза и едва не попал в канаву. Потом, в конторе, среди делового разговора меня так и подмывало вдруг сообщить моему собеседнику: «Со мною случилась невероятная вещь. Представьте себе…» Но я ничего не сказал и этим создал прецедент тайны. Когда я наконец вернулся к себе в номер, то там, в ртутных тенях, обрамленный курчавой бронзой, ждал меня Феликс. С серьезным и бледным лицом он подошел ко мне вплотную. Был он теперь чисто выбрит, гладко зачесанные назад волосы, бледно-серый костюм, сиреневый галстук. Я вынул платок, он вынул платок тоже. Перемирие, переговоры.

Пыль предместья набилась мне в ноздри. Сморкаясь, я присел на край постели, продолжая смотреться в олакрез. Помню, что мелкие признаки бытия – щекотка в носу, голод, и потом рыжий вкус шницеля в ресторане – странно меня занимали, точно я искал и находил (и все-таки слегка сомневался) доказательства тому, что я – я, что я (средней руки коммерсант с замашками) действительно нахожусь в гостинице, обедаю, думаю о делах и ничего не имею общего с бродягой, валяющимся сейчас где-то за городом, под кустом. И вдруг снова у меня сжималось в груди от ощущения чуда. Ведь этот человек, особенно когда он спал, когда черты были неподвижны, являл мне мое лицо, мою маску, безупречную и чистую личину моего трупа, – я говорю «трупа» только для того, чтобы с предельной ясностью выразить мою мысль, – какую мысль? – а вот какую: у нас были тождественные черты, и в совершенном покое тождество это достигало крайней своей очевидности, – а смерть – это покой лица, художественное его совершенство; жизнь только портила мне двойника: так ветер туманит счастие Нарцисса, так входит ученик в отсутствие художника и непрошенной игрой лишних красок искажает мастером написанный портрет. И еще я думал о том, что именно мне, особенно любившему и знавшему свое лицо, было легче, чем другому, обратить внимание на двойника, – ведь не все так внимательны, ведь часто бывает, что говоришь: «Как похожи!» – о двух знакомых между собою людях, которые не подозревают о подобии своем (и стали бы отрицать его не без досады, ежели его им открыть). Возможность, однако, такого совершенного сходства, какое было между мной и Феликсом, никогда прежде мною не предполагалась. Я видел схожих братьев, соутробников, я видел в кинематографе двойников, то есть актера в двух

ролях, – как и в нашем случае, наивно подчеркивалась разница общественного положения: один непременно беден, а другой состоятелен, один – бродяга в кепке, с расхристанной походкой, а другой – солидный буржуа с автомобилем, – как будто и впрямь чета схожих бродяг или чета схожих джентльменов менее поражала бы воображение. Да, я все это видал, – но сходство близнецов испорчено штампом родственности, а фильмовый актер в двух ролях никого не обманывает, ибо если он и появляется сразу в двух лицах, то чувствуешь поперек снимка линию склейки. В данном же случае не было ни анемии близнячества (кровь пошла на двоих), ни трюка иллюзиониста.

Я желаю во что бы то ни стало, и я этого добьюсь, убедить всех вас, заставить вас, негодяев, убедиться, – но боюсь, что, по самой природе своей, слово не может полностью изобразить сходство двух человеческих лиц, – следовало бы написать их рядом не словами, а красками, и тогда зрителю было бы ясно, о чем идет речь. Высшая мечта автора: превратить читателя в зрителя, – достигается ли это когда-нибудь? Бледные организмы литературных героев, питаясь под руководством автора, наливаются живой читательской кровью; гений писателя состоит в том, чтобы дать им способность ожить благодаря этому питанию и жить долго. Но сейчас мне нужна не литература, а простая, грубая наглядность живописи. Вот мой нос – крупный, северного образца, с крепкой костью и почти прямоугольной мякиной. Вот его нос – точь-в-точь такой же. Вот эти две резкие бороздки по сторонам рта и тонкие, как бы слизанные губы. Вот они и у него. Вот скулы… Но это – паспортный, ничего не говорящий перечень черт, и в общем ерундовая условность. Кто-то когда-то мне сказал, что я похож на Амундсена. Вот он тоже похож на Амундсена. Но не все помнят Амундсеново лицо, я сам сейчас плохо помню. Нет, ничего не могу объяснить.

Жеманничаю. Знаю, что доказал. Все обстоит великолепно. Читатель, ты уже видишь нас. Одно лицо! Но не думай, я не стесняюсь возможных недостатков, мелких опечаток в книге природы. Присмотрись: у меня большие желтоватые зубы, у него они теснее, светлее, – но разве это важно? У меня на лбу надувается жила, как недочерченная «мысль»[2 - Имеется в виду «мыслете» – название буквы «м» в старо- и церковнославянской азбуке.], но когда я сплю, у меня лоб так же гладок, как у моего дупликата[3 - Устаревшая форма слова, отмеченная в словаре Даля.]. А уши… изгибы его раковин очень мало изменены против моих: спрессованы тут, разглажены там. Разрез глаз одинаков, узкие глаза, подтянутые, с редкими ресницами, – но они у него цветом бледнее. Вот, кажется, и все отличительные приметы, которые в ту первую встречу я мог высмотреть. В тот вечер, в ту ночь я памятью рассудка перебирал эти незначительные погрешности, а глазной памятью видел, вопреки всему, себя,

себя, в жалком образе бродяги, с неподвижным лицом, с колючей тенью – как за ночь у покойников – на подбородке и щеках… Почему я замешкал в Праге? С делами было покончено, я свободен был вернуться в Берлин. Почему? Почему на другое утро я опять отправился на окраину и пошел по знакомому шоссе? Без труда я отыскал место, где он вчера валялся. Я там нашел золотой окурок, кусок чешской газеты и еще – то жалкое, безличное, что незатейливый пешеход оставляет под кустом. Несколько изумрудных мух дополняли картину. Куда он ушел, где провел ночь? Праздные, неразрешимые вопросы. Мне стало нехорошо на душе, смутно, тягостно, словно все, что произошло, было недобрым делом. Я вернулся в гостиницу за чемоданом и поспешил на вокзал. У выхода на дебаркадер стояли в два ряда низкие, удобные, по спинному хребту выгнутые скамейки, там сидели люди, кое-кто дремал. Мне подумалось: вот сейчас увижу его, спящим, с раскрытыми руками, с последней уцелевшей фиалкой в петлице. Нас бы заметили рядом, вскочили, окружили, потащили бы в участок. Почему? Зачем я это пишу? Привычный разбег пера? Или в самом деле есть уже преступление в том, чтобы как две капли крови походить друг на друга?

Глава II

Я слишком привык смотреть на себя со стороны, быть собственным натурщиком, – вот почему мой слог лишен благодатного духа непосредственности. Никак не удается мне вернуться в свою оболочку и по-старому расположиться в самом себе, – такой там беспорядок: мебель переставлена, лампочка перегорела, прошлое мое разорвано на клочки.

А я был довольно счастлив. В Берлине у меня была небольшая, но симпатичная квартира – три с половиной комнаты, солнечный балкон, горячая вода, центральное отопление, жена Лида и горничная Эльза. По соседству находился гараж, и там стоял приобретенный мной на выплату хорошенький, темно-синий автомобиль – двухместный. Успешно, хоть и медлительно, рос на балконе круглый, натуженный, седовласый кактус. Папиросы я покупал всегда в одной и той же лавке, и там встречали меня счастливой улыбкой. Такая же улыбка встречала жену там, где покупались масло и яйца. По субботам мы ходили в кафе или кинематограф. Мы принадлежали к сливкам мещанства, – по крайней мере, так могло казаться. Однако по возвращении домой из конторы я не разувался, не ложился на кушетку с вечерней газетой. Разговор мой с женой не состоял исключительно из небольших цифр. Приключения моего шоколада

притягивали мысль не всегда. Мне, признаюсь, была не чужда некоторая склонность к богеме. Что касается моего отношения к новой России, то прямо скажу: мнений моей жены я не разделял. Понятие «большевики» принимало в ее крашеных устах оттенок привычной и ходульной ненависти, – нет, пожалуй, «ненависть» слишком страстно сказано, – это было что-то домашнее, элементарное, бабье, – большевиков она не любила, как не любишь дождя (особенно по воскресеньям) или клопов (особенно в новой квартире), – большевизм был для нее чем-то природным и неприятным, как простуда. Обоснование этих взглядов подразумевалось само собой, толковать их было незачем. Большевик не верит в Бога, – ах, какой нехороший, – и вообще – хулиган и садист. Когда я, бывало, говорил, что коммунизм в конечном счете – великая, нужная вещь, что новая, молодая Россия создает замечательные ценности, пускай непонятные европейцу, пускай неприемлемые для обездоленного и обозленного эмигранта, что такого энтузиазма, аскетизма, бескорыстия, веры в свое грядущее единообразие еще никогда не знала история, – моя жена невозмутимо отвечала: «Если ты так говоришь, чтобы дразнить меня, то это не мило». Но я действительно так думаю, т. е. действительно думаю, что надобно что-то такое коренным образом изменить в нашей пестрой, неуловимой, запутанной жизни, что коммунизм действительно создаст прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков, широкоплечих микроцефалов и что в неприязни к нему есть нечто детское и предвзятое, вроде ужимки, к которой прибегает моя жена, – напрягает ноздри и поднимает бровь (то есть дает детский и предвзятый образ роковой женщины) всякий раз, как смотрится – даже мельком – в зеркало.

Вот, не люблю этого слова. Страшная штука. С тех пор как я перестал бриться, оного не употребляю. Между тем упоминание о нем неприятно взволновало меня, прервало течение моего рассказа. (Представьте себе, что следует: история зеркал.) А есть и кривые зеркала, зеркала-чудовища: малейшая обнаженность шеи вдруг удлиняется, а снизу, навстречу ей, вытягивается другая, неизвестно откуда взявшаяся марципановая нагота, и обе сливаются; кривое зеркало раздевает человека или начинает уплотнять его, и получается человек-бык, человек-жаба, под давлением неисчислимых зеркальных атмосфер, – а не то тянешься, как тесто, и рвешься пополам, – уйдем, уйдем, – я не умею смеяться гомерическим смехом, – все это не так просто, как вы, сволочи, думаете. Да, я буду ругаться, никто не может мне запретить ругаться. И не иметь зеркала в комнате – тоже мое право. А в крайнем случае (чего я, действительно, боюсь?) отразился бы в нем незнакомый бородач, – здорово она у меня выросла, эта самая борода, – и за такой короткий срок, – я другой, совсем другой, – я не вижу себя. Из всех пор прет волос. По-видимому, внутри у меня были огромные запасы

косматости. Скрываюсь в естественной чаще, выросшей из меня. Мне нечего бояться. Пустая суеверность. Вот я напишу опять это слово. Олакрез. Зеркало. И ничего не случилось. Зеркало, зеркало, зеркало. Сколько угодно, – не боюсь. Зеркало. Смотреться в зеркало. Я это говорил о жене. Трудно говорить, если меня все время перебивают.

Она, между прочим, тоже была суеверна. Сухо дерево[4 - Имеется в виду поговорка «Сухо дерево назад не пятится» (приговаривают к доброму слову, чтобы не сглазить).]. Торопливо, с решительным видом, плотно сжав губы, искала какой-нибудь голой, неполированной деревянности, чтобы легонько тронуть ее своими короткими пальцами, с подушечками вокруг земляничнo-ярких, но всегда, как у ребенка, не очень чистых ногтей, – поскорее тронуть, пока еще не остыло в воздухе упоминание счастья. Она верила в сны: выпавший зуб – смерть знакомого, зуб с кровью – смерть родственника. Жемчуга – это слезы. Очень дурно видеть себя в белом платье, сидящей во главе стола. Грязь – это богатство, кошка – измена, море – душевные волнения. Она любила подолгу и обстоятельно рассказывать свои сны. Увы, я пишу о ней в прошедшем времени. Подтянем пряжку рассказа на одну дырочку.

Она ненавидит Ллойд Джорджа, из-за него, дескать, погибла Россия, – и вообще: «Я бы этих англичан своими руками передушила». Немцам попадает за пломбированный поезд (большевичный консерв[5 - Редкая устаревшая форма слова «консервы» в единственном числе.], импорт Ленина). Французам: «Мне, знаешь, рассказывал Ардалион, что они держались по-хамски во время эвакуации». Вместе с тем она находит тип англичанина (после моего) самым красивым на свете, немцев уважает за музыкальность и солидность и «обожает Париж», где как-то провела со мной несколько дней. Эти ее убеждения неподвижны, как статуи в нишах. Зато ее отношение к русскому народу проделало все-таки некоторую эволюцию. В двадцатом году она еще говорила: «Настоящий русский мужик – монархист». Теперь она говорит: «Настоящий русский мужик вымер».

Она малообразованна и малонаблюдательна. Мы выяснили как-то, что слово «мистик» она принимала всегда за уменьшительное, допуская, таким образом, существование каких-то настоящих, больших «мистов», в черных тогах, что ли, со звездными лицами. Единственное дерево, которое она отличает, это береза: наша, мол, русская. Она читает запоем, и все – дребедень, ничего не запоминая и выпуская длинные описания. Ходит по книги в русскую библиотеку, сидит там у стола и долго выбирает, ощупывает, перелистывает, заглядывает в книгу

боком, как курица, высматривающая зерно, откладывает, берет другую, открывает, – все это делается одной рукой, не снимая со стола, – заметив, что открыла вверх ногами, поворачивает на девяносто градусов, – и тут же быстро тянется к той, которую библиотекарь готовится предложить другой даме, – все это длится больше часа, а чем определяется ее конечный выбор – не знаю, быть может заглавием. Однажды я ей привез с вокзала пустяковый криминальный роман в обложке, украшенной красным крестовиком на черной паутине, – принялась читать, адски интересно, просто нельзя удержаться, чтобы не заглянуть в конец, – но так как это все бы испортило, она, зажмурясь, разорвала книгу по корешку на две части и заключительную спрятала, а куда – забыла, и долго-долго искала по комнатам ею же сокрытого преступника, приговаривая тонким голосом: «Это так было интересно, так интересно, я умру, если не узнаю».

Она теперь узнала. Эти всё объясняющие страницы были хорошо запрятаны, но они нашлись, все, кроме, быть может, одной. Вообще, много чего произошло и теперь объяснилось. Случилось и то, чего она больше всего боялась. Из всех примет это была самая жуткая. Разбитое зеркало. Да, так оно и случилось, но не совсем обычным образом. Бедная покойница!

Ти-ри-бом. И еще раз – бом! Нет, я не сошел с ума, это я просто издаю маленькие радостные звуки. Так радуешься, надув кого-нибудь. А я только что здорово кого-то надул. Кого? Посмотрись, читатель, в зеркало, благо ты зеркала так любишь.

Но теперь мне вдруг стало грустно, – по-настоящему. Я вспомнил вдруг так живо этот кактус на балконе, эти синие наши комнаты, эту квартиру в новом доме, выдержанную в современном коробочно-обжулю-пространство-безфинтифлюшечном стиле, – и на фоне моей аккуратности и чистоты ералаш, который всюду сеяла Лида, сладкий, вульгарный запах ее духов. Но ее недостатки, ее святая тупость, институтские фурирчики[6 - Безудержный смех (от фр. fou rire).] в подушку не сердили меня. Мы никогда не ссорились, я никогда не сделал ей ни одного замечания, – какую бы глупость она на людях ни сморозила, как бы дурно она ни оделась. Не разбиралась, бедная, в оттенках: ей казалось, что, если все одного цвета, цель достигнута, гармония полная, и поэтому она могла нацепить изумрудно-зеленую фетровую шляпу при платье оливковом или нильской воды. Любила, чтобы все «повторялось», – если кушак черный, то уже непременно какой-нибудь черный кантик или черный бантик на шее. В первые годы нашего брака она носила белье со швейцарским шитьем. Ей

ничего не стоило к воздушному платью надеть плотные осенние башмаки, – нет, тайны гармонии ей были совершенно недоступны, и с этим связывалась необычайная ее безалаберность, неряшливость. Неряшливость сказывалась в самой ее походке: мгновенно стаптывала каблук на левой ноге. Страшно было заглянуть в ящик комода, – там кишели, свившись в клубок, тряпочки, ленточки, куски материи, ее паспорт, об резок молью подъеденного меха, еще какие-то анахронизмы, например дамские гетры – одним словом, Бог знает что. Частенько и в царство моих аккуратно сложенных вещей захаживал какой-нибудь грязный кружевной платочек или одинокий рваный чулок: чулки у нее рвались немедленно – словно сгорали на ее бойких икрах. В хозяйстве она не понимала ни аза, гостей принимала ужасно, к чаю почему-то подавалась в вазочке наломанная на кусочки плитка молочного шоколада, как в бедной провинциальной семье. Я иногда спрашивал себя, за что, собственно, ее люблю, – может быть, за теплый карий раек пушистых глаз, за естественную боковую волну в кое-как причесанных каштановых волосах, за круглые, подвижные плечи, а всего вернее – за ее любовь ко мне.

Я был для нее идеалом мужчины: умница, смельчак. Наряднее меня не одевался никто, – помню, когда я сшил себе новый смокинг с огромными панталонами, она тихо всплеснула руками, в тихом изнеможении опустилась на стул и тихо произнесла: «Ах, Герман…» – это было восхищение, граничившее с какой-то райской грустью.

Пользуясь ее доверчивостью, с безотчетным чувством, быть может, что, украшая образ любимого ею человека, иду ей навстречу, творю доброе, полезное для ее счастья дело, я за десять лет нашей совместной жизни наврал о себе, о своем прошлом, о своих приключениях так много, что мне самому все помнить и держать наготове для возможных ссылок – было бы непосильно. Но она забывала все, – ее зонтик перегостил у всех наших знакомых, история, прочитанная в утренней газете, сообщалась мне вечером приблизительно так: «Ах, где я читала, – и что это было… не могу поймать за хвостик, – подскажи, ради Бога», – дать ей опустить письмо равнялось тому, чтобы бросить его в реку, положась на расторопность течения и рыболовный досуг получателя. Она путала даты, имена, лица. Понавыдумав чего-нибудь, я никогда к этому не возвращался, она скоро забывала, рассказ погружался на дно ее сознания, но на поверхности оставалась вечно обновляемая зыбь нетребовательного изумления. Ее любовь ко мне почти выступала за ту черту, которая определяла все ее другие чувства. В иные ночи – лунные, летние – самые оседлые ее мысли превращались в робких кочевников. Это длилось недолго, заходили они недалеко; мир замыкался опять, – простейший мир; самое сложное в нем было разыскивание телефонного

номера, записанного на одной из страниц библиотечной книги, одолженной как раз тем знакомым, которым следовало позвонить.

Любила она меня без оговорок и без оглядок, с какой-то естественной преданностью. Не знаю, почему я опять впал в прошедшее время, – но все равно, – так удобнее писать. Да, она любила меня, верно любила. Ей нравилось рассматривать так и сяк мое лицо: большим пальцем и указательным, как циркулем, она мерила мои черты, – чуть колючее, с длинной выемкой посредине, надгубье, просторный лоб, с припухлостями над бровями, проводила ногтем по бороздкам с обеих сторон сжатого, нечувствительного к щекотке рта. Крупное лицо, непростое, вылепленное на заказ, с блеском на мослаках и слегка впалыми щеками, которые на второй день покрывались как раз таким же рыжеватым на свет волосом, как у него. А сходство глаз (правда, неполное сходство) – это уже роскошь, – да и все равно они были у него прикрыты, когда он лежал передо мной, – и хотя я никогда не видал воочию, только ощупывал, свои сомкнутые веки, я знаю, что они не отличались от евойных, – удобное слово, пора ему в калашный ряд. Нет, я ничуть не волнуюсь, я вполне владею собой. Если мое лицо то и дело выскакивает, точно из-за плетня, раздражая, пожалуй, деликатного читателя, то это только на благо читателю, – пускай ко мне привыкнет; я же буду тихо радоваться, что он не знает, мое ли это лицо или Феликса, – выгляну и спрячусь, – а это был не я. Только таким способом и можно читателя проучить, доказать ему на опыте, что это не выдуманное сходство, что оно может, может существовать, что оно существует, да, да, да, – как бы искусственно и нелепо это ни казалось.

Когда я вернулся из Праги в Берлин, Лида на кухне взбивала гоголь-моголь… «Горлышко болит», – сказала она озабоченно; поставила стакан на плиту, отерла кистью желтые губы и поцеловала мою руку. Розовое платье, розовые чулки, рваные шлепанцы… Кухню наполняло вечернее солнце. Она принялась опять вертеть ложкой в густой желтой массе, похрустывал сахарный песок, было еще рыхло, ложка еще не шла гладко, с тем бархатным оканием, которого следует добиться. На плите лежала открытая потрепанная книга; неизвестным почерком, тупым карандашом – заметка на поле: «Увы, это верно» – и три восклицательных знака со съехавшими набок точками. Я прочел фразу, так понравившуюся одному из предшественников моей жены: «Любовь к ближнему, – проговорил сэр Реджинальд, – не котируется на бирже современных отношений».

«Ну как, – хорошо съездил?» – спросила жена, сильно вертя рукояткой и зажав ящик между колен. Кофейные зерна потрескивали, крепко благоухали, мельница еще работала с натугой и грохотком, но вдруг полегчало, сопротивления нет, пустота…

Я что-то спутал. Это как во сне. Она ведь делала гоголь-моголь, а не кофе.

«Так себе съездил. А у тебя что слышно?»

Почему я ей не сказал о невероятном моем приключении? Я, рассказывавший ей уйму чудесных небылиц, точно не смел оскверненными не раз устами поведать ей чудесную правду. А может быть, удерживало меня другое: писатель не читает во всеуслышание неоконченного черновика, дикарь не произносит слов, обозначающих вещи таинственные, сомнительно к нему настроенные, сама Лида не любила преждевременного именования едва светающих событий.

Несколько дней я оставался под гнетом той встречи. Меня странно беспокоила мысль, что сейчас мой двойник шагает по неизвестным мне дорогам, дурно питается, холодает, мокнет, – может быть, уже простужен. Мне ужасно хотелось, чтобы он нашел работу: приятнее было бы знать, что он в сохранности, в тепле или хотя бы в надежных стенах тюрьмы. Вместе с тем я вовсе не собирался принять какие-либо меры для улучшения его обстоятельств, содержать его мне ничуть не хотелось. Да и найти для него работу в Берлине, и так полном дворомыг, было все равно невозможно, – и, вообще говоря, мне почему-то казалось предпочтительнее, чтобы он находился в некотором отдалении от меня, точно близкое с ним соседство нарушило бы чары нашего сходства. Время от времени, дабы он не погиб, не опустился окончательно среди своих дальних скитаний, оставался живым, верным носителем моего лица в мире, я бы ему, пожалуй, посылал небольшую сумму… Праздное благоволение, – ибо у него не было постоянного адреса; так что повременим, дождемся того осеннего дня, когда он зайдет на почтамт в глухом саксонском селении.

Прошел май, и воспоминание о Феликсе затянулось. Отмечаю сам для себя ровный ритм этой фразы: банальную повествовательность первых двух слов и затем – длинный вздох идиотического удовлетворения. Любителям сенсаций я, однако, укажу на то, что затягивается, собственно говоря, не воспоминание, а рана. Но это – так, между прочим, безотносительно. Еще отмечу, что мне теперь как-то легче пишется, рассказ мой тронулся: я уже попал на тот автобус, о котором упоминалось в начале, и еду не стоя, а сидя, со всеми удобствами, у

окна. Так по утрам я ездил в контору, покамест не приобрел автомобиля.

Ему в то лето пришлось малость пошевелиться, – да, я увлекся этой блестящей синей игрушкой. Мы с женой часто закатывались на весь день за город. Обыкновенно забирали с собой Ардалиона, добродушного и бездарного художника, двоюродного брата жены. По моим соображениям, он был беден как воробей; если кто-либо и заказывал ему свой портрет, то из милости, а не то – по слабости воли (Ардалион бывал невыносимо настойчив). У меня и, вероятно, у Лиды он брал взаймы по полтиннику, по марке, – и уж конечно норовил у нас пообедать. За комнату он не платил месяцами или платил мертвой натурой – какими-нибудь квадратными яблоками, рассыпанными по косой скатерти, или малиновой сиренью в набокой вазе с бликом. Его хозяйка обрамляла все это на свой счет; ее столовая походила на картинную выставку. Питался он в русском кабачке, который когда-то «раздраконил»: был он москвич и любил слова этакие густые, с искрой, с пошлейшей московской прищуринкой. И вот, несмотря на свою нищету, он каким-то образом ухитрился приобрести небольшой участок в трех часах езды от Берлина, – вернее, внес первые сто марок, будущие взносы его не беспокоили, ни гроша больше он не собирался выложить, считая, что эта полоса земли оплодотворена первым его платежом и уже принадлежит ему на веки вечные. Полоса была длиной в две с половиной теннисных площадки и упиралась в маленькое миловидное озеро. На ней росли две неразлучные березы (или четыре, если считать их отражения), несколько кустов крушины да поодаль пяток сосен, а еще дальше в тыл – немного вереска: дань окрестного леса. Участок не был огорожен, – на это не хватило средств; Ардалион, по-моему, ждал, чтобы огородились оба смежных участка, автоматически узаконив пределы его владений и дав ему даровой частокол; но эти соседние полосы еще не были проданы, – вообще продажа шла туго в данном месте: сыро, комары, очень далеко от деревни, а дороги к шоссе еще нет, и когда ее проложат, неизвестно.

Первый раз мы побывали там (поддавшись восторженным уговорам Ардалиона) в середине июня. Помню, воскресным утром мы заехали за ним, я стал трубить, глядя на его окно. Окно спало крепко. Лида сделала рупор из рук и крикнула: «Ардалио-ша!» Яростно метнулась штора в одном из нижних окон, над вывеской пивной, вид которой почему-то наводил меня на мысль, что Ардалион там задолжал немало, – метнулась, говорю я, штора, и сердито выглянул какой-то старый бисмарк в халате.

Оставив Лиду в отдрожавшем автомобиле, я пошел поднимать Ардалиона. Он спал. Он спал в купальном костюме. Выкатившись из постели, он молча и быстро надел тапочки, натянул на купальное трико фланелевые штаны и синюю рубашку, захватил портфель с подозрительным вздутием, и мы спустились. Торжественно-сонное выражение мало красило его толстоносое лицо. Он был посажен сзади, на тещино место.

Я дороги не знал. Он говорил, что знает ее как «Отче наш». Едва выехав из Берлина, мы стали плутать. В дальнейшем пришлось справляться: останавливались, спрашивали и потом поворачивали посреди неведомой деревни; маневрируя, наезжали задними колесами на кур; я не без раздражения сильно раскручивал руль, выпрямляя его, и, дернувшись, мы устремлялись дальше.

«Узнаю мои владения! – воскликнул Ардалион, когда около полудня мы проехали Кенигсдорф и попали на знакомое ему шоссе. – Я вам укажу, где свернуть. Привет, привет, столетние деревья!»

«Ардалончик, не валяй дурака», – мирно сказала Лида.

По сторонам шоссе тянулись бугристые пустыни, вереск и песок, кое-где мелкие сосенки. Потом все это немножко пригладилось – поле как поле, и за ним темная опушка леса. Ардалион захлопотал снова. На краю шоссе, справа, вырос ярко-желтый столб, и в этом месте от шоссе исходила под прямым углом едва заметная дорога, призрак старой дороги, почти сразу выдыхающейся в хвощах и диком овсе.

«Сворачивайте», – важно сказал Ардалион и, невольно крякнув, навалился на меня, ибо я затормозил.

Ты улыбнулся, читатель. В самом деле – почему бы и не улыбнуться: приятный летний день, мирный пейзаж, добродушный дурак-художник, придорожный столб. О, этот желтый столб… Поставленный дельцом, продающим земельные участки, торчащий в ярком одиночестве, блудный брат других охряных столбов, которые в семи верстах отсюда, поближе к деревне Вальдау, стояли на страже более дорогих и соблазнительных десятин, – он, этот одинокий столб, превратился для меня впоследствии в навязчивую идею. Отчетливо желтый среди размазанной природы, он вырастал в моих снах. Мои видения по нем

ориентировались. Все мысли мои возвращались к нему. Он сиял верным огнем во мраке моих предположений. Мне теперь кажется, что, увидев его впервые, я как бы его узнал: он мне был знаком по будущему. Быть может, я ошибаюсь, быть может, я взглянул на него равнодушно и только думал о том, чтобы, сворачивая, не задеть его крылом автомобиля, – но все равно: теперь, вспоминая его, не могу отделить это первое знакомство с ним от его созревшего образа.

Дорога, как я уже сказал, затерялась, стерлась; автомобиль недовольно заскрипел, прыгая на кочках; я застопорил и пожал плечами.

Лида сказала: «Знаешь, Ардалиоша, мы лучше поедем прямо по шоссе в Вальдау, – ты говорил, там большое озеро, кафе».

«Ни в коем случае, – взволнованно возразил Ардалион. – Во-первых, там кафе только проектируется, а во-вторых, у меня тоже есть озеро. Будьте любезны, дорогой, – обратился он ко мне, – двиньте дальше вашу машину, не пожалеете».

Впереди, шагах в трехстах, начинался сосновый бор. Я посмотрел туда и, клянусь, почувствовал, что все это уже знаю! Да, теперь я вспомнил ясно: конечно, было у меня такое чувство, я его не выдумал задним числом, и этот желтый столб… он многозначительно на меня посмотрел, когда я оглянулся, – и как будто сказал мне: я тут, я к твоим услугам, – и стволы сосен впереди, словно обтянутые красноватой змеиной кожей, и мохнатая зелень их хвои, которую против шерсти гладил ветер, и голая береза на опушке… почему голая? ведь это еще не зима, – зима была еще далеко, – стоял мягкий, почти безоблачный день, тянули «зе-зе-зе», срываясь, заики-кузнечики… да, все это было полно значения, все это было недаром…

«Куда, собственно, прикажете двинуться? Я дороги не вижу».

«Нечего миндальничать, – сказал Ардалион. – Жарьте, дорогуша. Ну да, прямо. Вон туда, к тому просвету. Вполне можно пробиться. А там уж лесом недалеко».

«Может быть, выйдем и пойдем пешком», – предложила Лида.

«Ты права, – сказал я, – кому придет в голову украсть новенький автомобиль».

«Да, это опасно, – тотчас согласилась она, – тогда, может быть, вы вдвоем, – (Ардалион застонал), – он тебе покажет свое имение, а я вас здесь подожду, а потом поедем в Вальдау, выкупаемся, посидим в кафе».

«Это свинство, барыня, – с чувством сказал Ардалион. – Мне же хочется принять вас у себя, на своей земле. Для вас заготовлены кое-какие сюрпризы. Меня обижают».

Я пустил мотор и одновременно сказал: «Но если сломаем машину, отвечаете вы».

Я подскакивал, рядом подскакивала Лида, сзади подскакивал Ардалион и говорил: «Мы сейчас, – (гоп), – въедем в лес, – (гоп), – и там, – (гоп-гоп), – по вереску пойдет легче», – (гоп).

Въехали. Сначала застряли в зыбучем песке, мотор ревел, колеса лягались, наконец – выскочили; затем ветки пошли хлестать по крыльям, по кузову, царапая лак. Наметилось, впрочем, что-то вроде тропы, которая то обрастала сухо хрустящим вереском, то выпрастывалась опять, изгибаясь между тесных стволов.

«Правее, – сказал Ардалион, – капельку правее, сейчас приедем. Чувствуете, какой расчудесный сосновый дух – роскошь! Я предсказывал, что будет роскошно. Вот теперь можно остановиться. Я пойду на разведку».

Он вылез и, вдохновенно вертя толстым задом, зашагал в чащу.

«Погоди, я с тобой!» – крикнула Лида, но он уже шел во весь парус и вот исчез за деревьями.

Мотор поцыкал и смолк.

«Какая глушь, – сказала Лида, – я бы, знаешь, боялась остаться здесь одна. Тут могут ограбить, убить, все что угодно».

Действительно, место было глухое. Сдержанно шумели сосны, снег лежал на земле, в нем чернели проплешины… Ерунда, – откуда в июне снег? Его бы

следовало вычеркнуть. Нет, – грешно. Не я пишу, – пишет моя нетерпеливая память. Понимайте как хотите – я ни при чем. И на желтом столбе была мурмолка снега. Так просвечивает будущее. Но довольно, да будет опять в фокусе летний день: пятна солнца, тени ветвей на синем автомобиле, сосновая шишка на подножке, где некогда будет стоять предмет весьма неожиданный: кисточка для бритья.

«На какой день мы с ними условились?» – спросила жена.

Я ответил: «На среду вечером».

Молчание.

«Я только надеюсь, что они ее не приведут опять», – сказала жена.

«Ну, приведут… Не все ли тебе равно?»

Молчание. Маленькие голубые бабочки над тимьяном.

«А ты уверен, Герман, что в среду?»

(Стоит ли раскрывать скобки? Мы говорили о пустяках – о каких-то знакомых, имелась в виду собачка, маленькая и злая, которою в гостях все занимались, Лида любила только «больших породистых псов», на слове «породистых» у нее раздувались ноздри.)

«Что же это он не возвращается? Наверное, заблудился».

Я вышел из автомобиля, походил кругом. Исцарапан.

Лида от нечего делать ощупала, а потом приоткрыла Ардалионов портфель. Я отошел в сторонку, – не помню, не помню, о чем думал; посмотрел на хворост под ногами, вернулся. Лида сидела на подножке автомобиля и посвистывала. Мы оба закурили. Молчание. Она выпускала дым боком, кривя рот.

Издалека донесся сочный крик Ардалиона. Минуту спустя он появился на прогалине и замахал, приглашая нас следовать. Медленно поехали, объезжая

стволы. Ардалион шел впереди, деловито и уверенно. Вскоре блеснуло озеро.

Его участок я уже описал. Он не мог мне указать точно его границы. Ходил большими твердыми шагами, отмеривая метры, оглядывался, припав на согнутую ногу, качал головой и шел отыскивать какой-то пень, служивший ему приметой. Березы гляделись в воду, плавал какой-то пух, лоснились камыши. Ардалионовым сюрпризом оказалась бутылка водки, которую, впрочем, Лида уже успела спрятать. Смеялась, подпрыгивала, в тесном палевом трико с двуцветным, красным и синим, ободком, – прямо крокетный шар. Когда, вдоволь накатавшись верхом на медленно плававшем Ардалионе («Не щиплись, матушка, а то свалю»), покричав и пофыркав, она выходила из воды, ноги у нее делались волосатыми, но потом высыхали и только слегка золотились. Ардалион крестился, прежде чем нырнуть, вдоль голени был у него здоровенный шрам – след гражданской войны, из проймы его ужасного вытянутого трико то и дело выскакивал нательный крест мужицкого образца.

Лида, старательно намазавшись кремом, легла навзничь, предоставляя себя в распоряжение солнца. Мы с Ардалионом расположились поблизости, под лучшей его сосной. Он вынул из печально похудевшего портфеля тетрадь ватманской бумаги, карандаши, и через минуту я заметил, что он рисует меня.

«У вас трудное лицо», – сказал он, щурясь.

«Ах, покажи», – крикнула Лида, не шевельнув ни одним членом.

«Повыше голову, – сказал Ардалион, – вот так, достаточно».

«Ах, покажи», – снова крикнула она погодя.

«Ты мне прежде покажи, куда ты запендрячила мою водку», – недовольно проговорил Ардалион.

«Дудки, – ответила Лида. – Ты при мне пить не будешь».

«Вот чудачка. Как вы думаете, она ее правда закопала? Я, собственно, хотел с вами, сэр, выпить на брудершафт».

«Ты у меня отучишься пить», – крикнула Лида, не поднимая глянцевитых век.

«Стерва», – сказал Ардалион.

Я спросил: «Почему вы говорите, что у меня трудное лицо? В чем его трудность?»

«Не знаю, – карандаш не берет. Надобно попробовать углем или маслом».

Он стер что-то резинкой, сбил пыль суставами пальцев, накренил голову.

«У меня, по-моему, очень обыкновенное лицо. Может быть, вы попробуете нарисовать меня в профиль?»

«Да, в профиль!» – крикнула Лида (все так же распятая на земле).

«Нет, обыкновенным его назвать нельзя. Капельку выше. Напротив, в нем есть что-то странное. У меня все ваши линии уходят из-под карандаша. Раз – и ушла».

«Такие лица, значит, встречаются редко, – вы это хотите сказать?»

«Всякое лицо – уникум», – произнес Ардалион.

«Ох, сгораю», – простонала Лида, но не двинулась.

«Но, позвольте, при чем тут уникум? Ведь, во-первых, бывают определенные типы лиц – зоологические, например. Есть люди с обезьяньими чертами, есть крысиный тип, свиной… А затем – типы знаменитых людей, – скажем, Наполеоны среди мужчин, королевы Виктории среди женщин. Мне говорили, что я смахиваю на Амундсена. Мне приходилось не раз видеть носы а-ля Лев Толстой. Ну, еще бывает тип художественный – иконописный лик, мадоннообразный. Наконец, бытовые, профессиональные типы…»

«Вы еще скажите, что все японцы между собою схожи. Вы забываете, синьор, что художник видит именно разницу. Сходство видит профан. Вот Лида вскрикивает в кинематографе: „Мотри, как похожа на нашу горничную Катю!“»

«Ардалиончик, не остри», – сказала Лида.

«Но согласитесь, – продолжал я, – что иногда важно именно сходство».

«Когда прикупаешь подсвечник», – сказал Ардалион.

Нет нужды записывать дальше этот разговор. Мне страстно хотелось, чтобы дурак заговорил о двойниках, – но я этого не добился. Через некоторое время он спрятал тетрадь, Лида умоляла показать ей, он требовал в награду возвращения водки, она отказалась, он не показал. Воспоминание об этом дне кончается тем, что растворяется в солнечном тумане, – или переплетается с воспоминанием о следующих наших поездках туда. А ездили мы не раз. Я тяжело и мучительно привязался к этому уединенному лесу с горящим в нем озером. Ардалион непременно хотел познакомить меня с директором предприятия и заставить меня купить соседний участок, но я отказывался, да если и было бы желание купить, я бы все равно не решился, – мои дела пошли тем летом неважно, все мне как-то опостылело, скверный мой шоколад меня разорял. Но честное слово, господа, честное слово, – не корысть, не только корысть, не только желание дела свои поправить… Впрочем, незачем забегать вперед.

Глава III

Как мы начнем эту главу? Предлагаю на выбор несколько вариантов. Вариант первый, – он встречается часто в романах, ведущихся от лица настоящего или подставного автора:

День нынче солнечный, но холодный, все так же бушует ветер, ходуном ходит вечнозеленая листва за окнами, почтальон идет по шоссе задом наперед, придерживая фуражку. Мне тягостно…

Отличительные черты этого варианта довольно очевидны: ведь ясно, что пока человек пишет, он находится где-то в определенном месте, – он не просто некий дух, витающий над страницей. Пока он вспоминает и пишет, что-то происходит вокруг него, – вот как сейчас этот ветер, эта пыль на шоссе, которую вижу в окно (почтальон повернулся и, согнувшись, продолжая бороться, пошел вперед).

Вариант приятный, освежительный, передышка, переход к личному, это придает рассказу жизненность, особенно когда первое лицо такое же выдуманное, как и все остальные. То-то и оно: этим приемом злоупотребляют, литературные выдумщики измочалили его, он не подходит мне, ибо я стал правдив. Обратимся теперь ко второму варианту. Он состоит в том, чтобы сразу ввести нового героя, – так и начать главу:

Орловиус был недоволен.

Когда он бывал недоволен, или озабочен, или просто не знал, что ответить, он тянул себя за длинную мочку левого уха, с седым пушком по краю, – а потом за длинную мочку правого, – чтоб не завидовало, – и смотрел поверх своих простых честных очков на собеседника, и медлил с ответом, и наконец отвечал: «Тяжело сказать, но мне кажется…»

«Тяжело» значило у него «трудно». Буква «л» была у него как лопата.

Опять же и этот второй вариант начала главы – прием популярный и доброкачественный, – но он как-то слишком щеголеват, да и не к лицу суровому, застенчивому Орловиусу бойко растворять ворота главы. Предлагаю вашему вниманию третий вариант:

Между тем… (пригласительный жест многоточия).

В старину этот прием был баловнем биоскопа, сиречь иллюзиона, сиречь кинематографа. С героем происходит (в первой картине) то-то и то-то, а между тем… Многоточие, – и действие переносится в деревню. Между тем… Новый абзац:

… по раскаленной дороге, стараясь держаться в тени яблонь, когда попадались по краю их кривые ярко беленные стволы.

Нет, глупости – он странствовал не всегда. Фермеру бывал нужен лишний батрак, лишняя спина требовалась на мельнице. Я плохо представляю себе его жизнь, – я никогда не бродяжничал. Больше всего мне хотелось вообразить, какое осталось у него впечатление от одного майского утра на чахлой траве за Прагой. Он проснулся. Рядом с ним сидел и глядел на него прекрасно одетый господин, который, пожалуй, даст папиросу. Господин оказался немцем. Стал

приставать, – может быть, не совсем нормален, – совал зеркальце, ругался. Выяснилось, что речь идет о сходстве. Сходство так сходство. Я ни при чем. Может быть, он даст мне легкую работу. Вот адрес. Как знать, может быть, что-нибудь и выйдет.

«Послушай-ка ты, – (разговор на постоялом дворе теплой и темной ночью), – какого я чудака встретил однажды. Выходило, что мы двойники».

Смех в темноте: «Это у тебя двоилось в глазах, пьянчуга».

Тут вкрался еще один прием: подражание переводным романам из быта веселых бродяг, добрых парней. У меня спутались все приемы.

А знаю я все, что касается литературы. Всегда была у меня эта страстишка. В детстве я сочинял стихи и длинные истории. Я никогда не воровал персиков из теплиц лужского помещика, у которого мой отец служил в управляющих, никогда не хоронил живьем кошек, никогда не выворачивал рук более слабым сверстникам, но сочинял тайно стихи и длинные истории, ужасно и непоправимо и совершенно зря порочившие честь знакомых, – но этих историй я не записывал и никому о них не говорил. Дня не проходило, чтобы я не налгал. Лгал я с упоением, самозабвенно, наслаждаясь той новой жизненной гармонией, которую создавал. За такую соловьиную ложь я получал от матушки в левое ухо, а от отца бычьей жилой по заду. Это нимало не печалило меня, а скорее служило толчком для дальнейших вымыслов. Оглохший на одно ухо, с огненными ягодицами, я лежал ничком в сочной траве под фруктовыми деревьями и посвистывал, беспечно мечтая. В школе мне ставили за русское сочинение неизменный кол, оттого что я по-своему пересказывал действия наших классических героев: так, в моей передаче «Выстрела» Сильвио наповал без лишних слов убивал любителя черешен и с ним – фабулу, которую я, впрочем, знал отлично. У меня завелся револьвер, я мелом рисовал на осиновых стволах в лесу кричащие белые рожи и деловито расстреливал их. Мне нравилось – и до сих пор нравится – ставить слова в глупое положение, сочетать их шутовской свадьбой каламбура, выворачивать наизнанку, заставать их врасплох. Что делает советский ветер в слове ветеринар? Откуда томат в автомате? Как из зубра сделать арбуз? В течение нескольких лет меня преследовал курьезнейший и неприятнейший сон: будто нахожусь в длинном коридоре, в глубине – дверь, – и страстно хочу, не смею, но наконец решаюсь к ней подойти и ее отворить; отворив ее, я со стоном просыпался, ибо за дверью оказывалось нечто невообразимо страшное, а именно: совершенно пустая, голая, заново

выбеленная комната, – больше ничего, но это было так ужасно, что невозможно было выдержать. С седьмого класса я стал довольно аккуратно посещать веселый дом, там пил пиво. Во время войны я прозябал в рыбачьем поселке неподалеку от Астрахани, и, кабы не книги, не знаю, перенес ли бы эти невзрачные годы. С Лидой я познакомился в Москве (куда пробрался чудом сквозь мерзкую гражданскую суету) на квартире случайного приятеля-латыша, у которого жил, – это был молчаливый белолицый человек, со стоявшими дыбом короткими жесткими волосами на кубическом черепе и рыбьим взглядом холодных глаз, – по специальности латинист, а впоследствии довольно видный советский чиновник. Там обитало несколько людей – всё случайных, друг с другом едва знакомых, – и между прочим, родной брат Ардалиона, а Лидин – двоюродный брат, Иннокентий, уже после нашего отъезда за что-то расстрелянный. Собственно говоря, все это подходит скорее для начала первой главы, а не третьей…

Хохоча, отвечая находчиво

(отлучиться ты очень не прочь!),

от лучей, от отчаянья отчего,

отчего ты отчалила в ночь?

Мое, мое, – опыты юности, любовь к бессмысленным звукам… Но вот что меня занимает: были ли у меня в то время какие-либо преступные, в кавычках, задатки? Таила ли моя, с виду серая, с виду незамысловатая, молодость возможность гениального беззакония? Или, может быть, я все шел по тому обыкновенному коридору, который мне снился, вскрикивал от ужаса, найдя комнату пустой, – но однажды, в незабвенный день, комната оказалась не пуста, – там встал и пошел мне навстречу мой двойник. Тогда оправдалось все: и стремление мое к этой двери, и странные игры, и бесцельная до тех пор склонность к ненасытной, кропотливой лжи. Герман нашел себя. Это было, как я имел честь вам сообщить, девятого мая, а уже в июле я посетил Орловиуса.

Он одобрил принятое мной и тут же осуществленное решение, которое к тому же он сам давно советовал мне принять. Неделю спустя я пригласил его к нам обедать. Заложил угол салфетки сбоку за воротник. Принимаясь за суп, выразил неудовольствие по поводу политических событий. Лида ветрено спросила его, будет ли война и с кем. Он посмотрел на нее поверх очков, медля ответом (таким приблизительно он просквозил в начале этой главы), и наконец ответил:

«Тяжело сказать, но мне кажется, что это исключено. Когда я молод был, я пришел на идею предположить только самое лучшее, – („лучшее“ у него вышло чрезвычайно грустно и жирно). – Я эту идею держу с тех пор. Главная вещь у меня – это оптимизмус».

«Что как раз необходимо при вашей профессии», – сказал я с улыбкой.

Он исподлобья посмотрел на меня и серьезно ответил:

«Но пессимизмус дает нам клиентов».

Конец обеда был неожиданно увенчан чаем в стаканах. Лиде это почему-то казалось очень ловким и приятным. Орловиус, впрочем, был доволен. Степенно и мрачно рассказывая о своей старухе матери, жившей в Юрьеве, он приподнимал стакан и мешал оставшийся в нем чай немецким способом, т. е. не ложкой, а круговым взбалтывающим движением кисти, дабы не пропал осевший на дно сахар.

Договор с его агентством был с моей стороны действием, я бы сказал, полусонным и странно незначительным. Я стал о ту пору угрюм, неразговорчив, туманен. Моя ненаблюдательная жена и та заметила некоторую во мне перемену. «Ты устал, Герман. Мы в августе поедем к морю», – сказала она как-то среди ночи, – нам не спалось, было невыносимо душно, даром что окно было открыто настежь.

«Мне вообще надоела наша городская жизнь», – сказал я. Она в темноте не могла видеть мое лицо. Через минуту:

«Вот тетя Лиза, та, что жила в Иксе, – есть такой город – Икс? Правда?»

«Есть».

«…живет теперь, – продолжала она, – не в Иксе, а около Ниццы, вышла замуж за француза старика, и у них ферма».

Зевнула.

«Мой шоколад, матушка, к чорту идет», – сказал я и зевнул тоже.

«Все будет хорошо, – пробормотала Лида. – Тебе только нужно отдохнуть».

«Переменить жизнь, а не отдохнуть», – сказал я с притворным вздохом.

«Переменить жизнь», – сказала Лида.

Я спросил: «А ты бы хотела, чтобы мы жили где-нибудь в тишине, на солнце? чтобы никаких дел у меня не было? честными рантье?»

«Мне с тобой всюду хорошо, Герман. Прихватили бы Ардалиона, купили бы большого пса…»

Помолчали.

«К сожалению, мы никуда не поедем. С деньгами – швах. Мне, вероятно, придется шоколад ликвидировать».

Прошел запоздалый пешеход. Стук. Опять стук. Он, должно быть, ударял тростью по столбам фонарей.

«Отгадай: мое первое значит „жарко“ по-французски. На мое второе сажают турка, мое третье – место, куда мы рано или поздно попадем. А целое – то, что меня разоряет».

С шелестом прокатил автомобиль.

«Ну что – не знаешь?»

Но моя дура уже спала. Я закрыл глаза, лег на бок, хотел заснуть тоже, но не удалось. Из темноты навстречу мне, выставив челюсть и глядя мне прямо в глаза, шел Феликс. Дойдя до меня, он растворялся, и передо мной была длинная пустая дорога: издалека появлялась фигура, шел человек, стуча тростью по стволам придорожных деревьев, приближался, я всматривался, и, выставив челюсть и глядя мне прямо в глаза, – он опять растворялся, дойдя до меня, или, вернее, войдя в меня, пройдя сквозь меня, как сквозь тень, и опять

выжидательно тянулась дорога, и появлялась вдали фигура, и опять это был он. Я поворачивался на другой бок, некоторое время все было темно и спокойно, – ровная чернота; но постепенно намечалась дорога – в другую сторону, – и вот возникал перед самым моим лицом, как будто из меня выйдя, затылок человека, с заплечным мешком грушей, он медленно уменьшался, он уходил, уходил, сейчас уйдет совсем, – но вдруг, обернувшись, он останавливался и возвращался, и лицо его становилось все яснее, и это было мое лицо. Я ложился навзничь, и, как в темном стекле, протягивалось надо мной лаковое черно-синее небо, полоса неба между траурными купами деревьев, медленно шедшими вспять справа и слева, – а когда я ложился ничком, то видел под собой убитые камни дороги, движущейся как конвейер, а потом выбоину, лужу, и в луже мое, исковерканное ветровой рябью, дрожащее, тусклое лицо, – и я вдруг замечал, что глаз на нем нет.

«Глаза я всегда оставляю напоследок», – самодовольно сказал Ардалион. Держа перед собой и слегка отстраняя начатый им портрет, он так и этак наклонял голову. Приходил он часто и затеял написать меня углем. Мы обычно располагались на балконе. Досуга у меня было теперь вдоволь, – я устроил себе нечто вроде небольшого отпуска. Лида сидела тут же, в плетеном кресле, и читала книгу; полураздавленный окурок – она никогда не добивала окурков – с живучим упорством пускал из пепельницы вверх тонкую, прямую струю дыма; маленькое воздушное замешательство, и опять – прямо и тонко.

«Мало похоже», – сказала Лида, не отрываясь, впрочем, от чтения.

«Будет похоже, – возразил Ардалион. – Вот сейчас подправим эту ноздрю и будет похоже. Сегодня свет какой-то неинтересный».

«Что неинтересно?» – спросила Лида, подняв глаза и держа палец на прерванной строке.

И еще один кусок из жизни того лета хочу предложить твоему вниманию, читатель. Прощения прошу за несвязность и пестроту рассказа, но, повторяю, не я пишу, а моя память, и у нее свой нрав, свои законы. Итак, я опять в лесу около Ардалионова озера, но приехал я на этот раз один, и не в автомобиле, а сперва поездом до Кенигсдорфа, потом автобусом до желтого столба. На карте, как-то забытой Ардалионом у нас на балконе, очень ясны все приметы местности. Предположим, что я держу перед собой эту карту; тогда Берлин, не уместившийся на ней, находится примерно у сгиба левой моей руки. На самой

карте, в юго-западном углу, продолжается черно-белым живчиком железнодорожный путь, который в подразумеваемом виде идет по левому моему рукаву из Берлина. Живчик упирается в этом юго-западном углу карты в городок Кенигсдорф, а затем черно-белая ленточка поворачивает, излучисто идет на восток, и там – новый кружок: Айхенберг. Но покамест нам незачем ехать туда, вылезаем в Кенигсдорфе. Разлучившись с железной дорогой, повернувшей на восток, тянется прямо на север, к деревне Вальдау, шоссейная дорога. Раза три в день отходит из Кенигсдорфа автобус и идет в Вальдау (семнадцать километров), где, кстати сказать, находится центр земельного предприятия: пестрый павильончик, веселый флаг, много желтых указательных столбов, – один, например, со стрелкой «К пляжу», – но еще никакого пляжа нет, а только болотце вдоль большого озера; другой с надписью «К казино», но и его нет, а есть что-то вроде скинии и зачаточный буфет; третий, наконец, приглашающий к спортивному плацу, и там действительно выстроены новые, сложные, гимнастические виселицы, которыми некому пользоваться, если не считать какого-нибудь крестьянского мальчишки, перегнувшегося головой вниз с трапеции и показывающего заплату на заду; кругом же, во все стороны, участки, – некоторые наполовину куплены, и по воскресеньям можно видеть толстяков в купальных костюмах и роговых очках, сосредоточенно строящих хижину; кое-где даже посажены цветы или стоит кокетливо раскрашенная будка-ретирада[7 - Отхожее место.]

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

В настоящем издании сохраняются некоторые особенности орфографии и транслитерации Набокова (написание слов чорт, счастие, фамилья, шелопай,

рукзак и др., а также имен собственных, например, Дойль). (Здесь и далее – прим. ред.)

2

Имеется в виду «мыслете» – название буквы «м» в старо- и церковнославянской азбуке.

3

Устаревшая форма слова, отмеченная в словаре Даля.

4

Имеется в виду поговорка «Сухо дерево назад не пятится» (приговаривают к доброму слову, чтобы не сглазить).

5

Редкая устаревшая форма слова «консервы» в единственном числе.

6

Безудержный смех (от фр. fou rire).

7

Отхожее место.

Купить: https://tellnovel.com/vladimir-nabokov/otchayanie

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити